

ПРЕДИСЛОВИЕ К НЫНЕШНИМ АВСТРИЙСКИМ ДЕЛАМ

Внимание Европы сильно занято теперь австрийскими делами; потому человек неопытный и легкомысленный может предположить, что наши очерки, в которых будут рассказаны австрийские события последних тринадцати лет, не нуждались ни в каком другом поводе к своему появлению на свет. «Что такое делается теперь в Пеште, Вене, Праге, Загребе? — спрашивает каждый: — как возникло это запутанное положение? Откуда взялись эти Шмерлинги и Сечены? Чего они хотят? На что они могут согласиться? Почему ими недовольны ни Рехберг и Бенедек, ни венгры, ни австрийские немцы, ни австрийские славяне? Поставленные между разноречивыми стремлениями разных народностей и представителями прежней системы, на какую сторону склонятся люди, управляющие теперь судьбами Австрии? Чего кто хочет в Австрии и что в ней выйдет? Это любопытно узнать каждому; потому натурально явиться в журнале статье, объясняющей нынешнее положение Австрии ходом предшествовавших событий. Других поводов не нужно искать».

Нет, о легкомысленный и неопытный читатель, нельзя довольствоваться такими поверхностными мыслями! Неужели ты думаешь, что мы унизились бы до служения суетному твоему любопытству? Положим, что в Австрии путаница, — но мало ли путаниц на свете? Обозри шар земной мысленным оком, ты увидишь много путаниц, еще менее тебе понятных. Читал ли ты, что в Мехике Хуарес или кто-то другой победил Мирамона? Согласись, что Мирамон и Хуарес еще загадочнее для тебя, чем Шмерлинг и барон Вай. Почему же мы пишем не о Мехике, а об Австрии? Тут, очевидно, есть другая причина, кроме желания разъяснить темные для тебя отношения. Читатель может отвечать: «но Мехикою не интересуется никто, Австриею заняты все». Положим, так: но почему не заняты? Вот в это и надобно вникнуть: исследуй причины своего любопытства, посмотри в корень, по правилу Кузьмы Пруткова.

Итак, почему публику интересует австрийская путаница? Иной скажет: по географическому соседству. Нет, этого мало. Граничит с Россией Персия, граничит Бухара, и драматических эпизодов в этих землях происходит уж наверное не меньше, чем в Австрии; почему же мы не интересуемся ими? Теперь причина обнаруживается уже довольно ясно. То — страны, слишком низко стоящие на пути цивилизации, недостойные особенного внимания истории, не завлекательные для просвещенной мысли, — Австрия не то; это страна, довольно высоко поднявшаяся в цивилизации, потому дела ее и любопытны.

Так. Но чем же измеряются успехи цивилизации? Развитием науки, искусств, литературы, поэзии. Назовите же мне хоть одного австрийского философа или историка, живописца или романиста, поэта или скульптора. Ни о каком австрийском имени ни по какому из этих сортов никто никогда не слыхивал; никто не может назвать ни одного, —

Молчанье на вызов ответ.

Так оно и было до последнего времени; потому и мы до последнего времени молчали об Австрии: она не представляла доказательств, что достигла высокой цивилизации.

Но неужели то же и теперь? Припомните, не имеет ли Австрия теперь знаменитого человека по одному из высших направлений цивилизации? Нет ли австрийского имени, которое было бы драгоценно каждому из нас? Нет ли австрийца, которому был бы каждый из нас обязан признательностью за возбуждение многих высоких идей, за доставление многих минут возвышенного наслаждения? Подумайте...

А на каком же языке, позвольте вас спросить, писал свои благоуханные произведения Яков Хам¹⁾? Какой он нации поэт, позвольте вас спросить? — «На австрийском? Австрийский!» — гремит дружный ответ всех читателей, и на глазах у каждого является слеза умиления.

Вот то-то же, недогадливые люди. Появление Якова Хама возвеличило Австрию, показало в ней страну великую, достойную изучения; и вот мы изучаем ее.

I

До 1815 года Австрия существовала в свете очень благополучно и очень тихо, кроме одних тех случаев, когда приходила ей охота воевать с кем-нибудь: тут поднимался по необходимости гром и треск; австрийцев обыкновенно били: сначала Фридрих Великий, потом французские республиканские генералы, потом Наполеон; побив их достаточное количество раз, победитель отрезывал себе какую-нибудь часть прежних австрийских владе-

ний; если эта отрезанная часть не возвращалась потом Австрий, начинала она сливаться с другим государством и сама не жалела о том, да и Австрия не жалела о том; так было с Силезией. Если же потерянные земли возвращались, как, например, провинции, отнятые у Австрии Наполеоном, тоже не происходило ничего особенного: возвращавшиеся провинции думали: «вот и прекрасно!»; другие австрийские провинции тоже думали: «вот и прекрасно!» А внутренняя австрийская жизнь при всех этих разгромах и безвозвратных потерях и при возвращении других потерь шла себе очень ладно.

Не были исключениями из этого ни Милан с Венециею, ни Венгрия. Венгры были очень привержены к Австрии, не поддались во время наполеоновских войн никаким уловкам Наполеона, рекомендовавшего им отделиться от Австрии при его помощи, и сражались против него за Австрию с полным усердием, из всех своих сил. А миланцы оказались еще усерднее: они сами низвергли прежнее свое правительство, зависевшее от Французской империи, и сами отдались австрийцам в 1814 году, — поступили точь-в-точь по Нестору, будто считались несторового поклонника Шлёцера²: «приидите княжить и владеть нами». Венецианцы также приняли австрийских главнокомандующих и губернаторов вместо французских с удовольствием. Теперь оно кажется невероятным, а тогда в самом деле ломбардо-венецианцы имели такие чувства; и, что еще невероятнее для нынешнего мнения, надобно сказать, что северо-восточная Италия не проиграла, а выиграла на первое время перед остальною Италиею тем, что стала под господство австрийцев. Да и не на первое время только, а вплоть до самого 1848 года остальные итальянцы могли во многом завидовать положению своих северных соотечичей под австрийской властью. Нечего рассказывать, какой порядок был до прошлого года в Неаполе, — этот порядок существовал в Неаполе с самого 1814 года. В Папской области хозяйничанье было точно такое же с той же самой поры. Ничем не отличался от Неаполя с Папской областью и Пьемонт до самых последних месяцев 1847 года: в нем так же безгранично властвовала клерикальная партия, доводившая до крайности систему Меттерниха, которого следует назвать либеральным по сравнению с пьемонтскими его учениками. В этом отзыве нет ничего преувеличенного: сами итальянцы свидетельствуют, что до 1848 года Ломбардо-Венецианское королевство управлялось гораздо лучше остальной Италии: оно имело, по крайней мере, не очень дурное судопроизводство по обыкновенным гражданским и уголовным делам, не относившимся к политике; оно имело довольно исправную полицию в хорошем смысле слова — в том смысле, что воры не могли вламываться безнаказанно в дома, грабить людей по улицам и по большим дорогам; самые дороги содержались в исправности и улучшались; строились даже железные дороги,

одна мысль о которых считалась преступной в остальной Италии. Словом сказать, Ломбардо-Венецианское королевство пользовалось таким же сносным полицейским и судебным управлением, как Саксония или Бавария. Ничего подобного в остальной Италии не было: там господствовала полнейшая безурядица, самая произвольная, самая безнадежная. В Пьемонте, в Парме, в Модене, Романье, Умбрии, Неаполе, Сицилии нельзя было получить управы ни на какого уличного мошенника, добиться правильного решения ни по какому гражданскому иску: полиция находилась на откупу у воров и бандитов, судебная власть решала все процессы по взяткам или связям. Мы все это говорим к тому, что масса итальянского населения, еще не думавшая ни о национальном единстве, ни о каких политических вопросах, завидовала ломбардо-венецианцам: земледельцы, купцы остальной Италии находили, что ломбардо-венецианцы лучше обеспечены в своей собственности, имеют гораздо больше простора по своим хозяйственным и денежным делам, чем они; поселяне, когда случалось им слышать или думать о чем-нибудь, происходящем за границею их прихода, находили то же самое; но слишком редко, слишком немногие из поселян и думали о чем-нибудь таком. Сельское население до последнего времени жило по всей Италии в таком патриархальном застое, что не только в каких-нибудь 1830-х годах, но в 1848 году или вовсе оставалось чуждо всякого отношения к событиям, или расположено было поддерживать прежний порядок. Даже в Ломбардо-Венецианском королевстве большинство поселян в 1848 году было очень довольно восстановлением австрийской власти.

А если так было в Ломбардо-Венецианском королевстве, если там в течение долгих лет после 1814 года господствовала скорее готовность к довольству судьбою, отдавшею эти земли под австрийскую власть, чем расположение к какой-нибудь оппозиции правительству, если и в Венгрии владычествовала совершенная преданность габсбургскому дому, то об остальных австрийских землях нечего и говорить. Чтобы видеть, как смиренны, послушны, даже расположены к обскурантизму были мысли в провинциях Австрии, принадлежащих к немецкому Союзу, мы обратим внимание на столицу; ведь столица всегда бывает самым прогрессивным городом, а в столице обратим внимание на молодежь, которая уже всегда бывает самой прогрессивною частью населения, и притом на университетскую молодежь, самую передовую часть молодежи. Мы увидим, что одним из первых проявлений переворота был адрес, поданный студентами императору. Мы увидим, что для поднесения этой просьбы императору выбран был профессор Ги, пользовавшийся огромнейшей популярностью между студентами. Он после 1848 года во все продолжение сильнейшей реакции занимал важное место по управлению, написал множество законов, имел сильное влияние на дела, совершенно в таком

духе, какой тогда требовался; и для этого не было ему необходимо изменять свои прежние убеждения.

Словом сказать, когда основалась нынешняя Австрийская империя с 1813 и 1814 гг., никаких оппозиционных расположений не существовало в составивших ее народах, и было бы чрезвычайно легко управлять ими так, чтобы они бог знает сколько времени оставались, — не говорим покорны, потому что о непокорности никто и не думал, — нет, а всею душой привержены к австрийскому правительству. Закваска этой приверженности была так сильна, так живуча, что очень долго не могла быть искоренена не только в массах, — в массах она оставалась даже и в 1848 году в самой Ломбардии, — а даже в прогрессивнейших слоях венгерского общества, не говоря уже о славянах и немцах. Какими же силами произведена была поразительная перемена в расположении умов, обнаружившаяся событиями 1848 года? Почему образованные сословия потребовали перемены, прибегли к насильственным средствам для ее получения, а расположенная к правительству масса покинула его без помощи?

Многие тут говорят о развитии мадьярского патриотизма, о панславизме, об итальянском стремлении к единству, приписывая дело неудержимому пробуждению национальностей, которые будто бы почувствовали невозможность ужиться мирным образом в одном государстве. Спора нет, перед 1848 годом уже существовало в чехах сильное нерасположение к немцам и даже намерение ввести в Австрии федеративную систему, а венгры и ломбардо-венецианцы даже воевали тогда против австрийцев; но чтобы решить, должны ли эти национальные чувства считаться причиной переворота, надобно точнее определить, во-первых, какое направление имели они даже и в 1848 году у чехов и венгров, а во-вторых, каким образом развились они до политического значения и у них, и у австрийских итальянцев.

Мы нисколько не желаем уменьшать значения, принадлежащего национальностям; но от национального чувства до стремления к полной государственной отдельности от других племен и к государственному единству с другими частями своего племени еще очень далеко. Конечно, такое стремление является логическим выводом из национального чувства, и в сознании некоторых народов такой вывод уже сделан; но не дадим себе забывать о бесчисленном множестве фактов из-за громких событий, которыми проявился он в некоторых странах, например, в последние два года в Италии. Не будем говорить о таких государствах, как Португалия и Голландия. Мы видим, что голландцы, одно из нижненемецких племен, не имеют никакого желания присоединиться к немецкой империи, которую хотят устроить себе другие немцы; а португальцы, отличающиеся по языку от жителей Мадрида не больше, чем андалузцы, и меньше, чем арагонцы, до сих пор не обнаруживают стремления слиться в одно государство с

остальными испанцами. Скажут, что Испания не имеет достаточного блеска, что немецкого единства еще нет в близкой перспективе, что нерасположенность голландцев и португальцев стремиться к национальному идеалу происходит только от рассудительного расчета, запрещающего жертвовать верным для неверного. Возьмем другой факт, относящийся к народности, самой блистательной по своему политическому единству, проникнутой самым укорененным и пылким энтузиазмом к нему. Савойцы не имели ровно никакого расположения перейти к французскому государству от итальянского Пьемонта. Французская часть Швейцарии решительно враждебна проектам о ее присоединении к Франции. Да и в итальянском племени есть такой же пример. Итальянская часть Швейцарии не имеет ни малейшего расположения присоединиться к Итальянскому королевству, и самому Маццини, вероятно, не приходила никогда мысль о таком присоединении. Этих примеров достаточно, чтобы сделать такое заключение: еще и в нынешнее время, в 1860-тых годах, национальные идеи сами по себе не имеют такой силы, чтобы заставлять часть племени стремиться к соединению в одно государство с другими частями того же племени и к разрушению государства, в котором она соединена с другими племенами. Просим не придавать нашим словам теоретического смысла, не считать их выражением нашего идеала: точно так же должны бы мы были сказать, например, что еще не все народы проникнуты стремлением к цивилизации или к справедливым общественным учреждениям. Мы только свидетельствуем о существовании факта; только характеризуем нынешнюю ступень человеческого развития. Если, например, мы читаем о каком-нибудь перевороте в Персии или Кабуле, мы никак не можем, к сожалению, поверить писателю, который вздумал бы объяснять его стремлением местных племен к просвещению, недовольством их на господствующий в тех землях обскурантизм, — те народы еще не дошли до такой охоты просвещаться, чтобы могли возникать из нее политические события. Точно так же мы говорим, что еще и до сих пор в Европе национальность сама по себе недостаточна для произведения перемен в распределении границ. Еще и теперь необходимо присутствие других более сильных причин, чтобы могло произойти что-нибудь важное. Если, например, Молдавия и Валахия очень сильно пожелали соединиться в одно государство, тут действовало очень простое обстоятельство чисто материального, если хотите, даже хозяйственного характера: жители Валахии подвергались грабительству турок, жители Молдавии также; каждая область в отдельности не чувствовала у себя силы помешать туркам грабить ее, — вот они и вздумали соединиться, в надежде, что, соединившись, будут иметь силу успешнее защищаться от грабежа. Национальность была тут лишь облегчающим обстоятельством, а не коренной причиной соединения.

Опять просим не придавать нашим словам преувеличенного значения. Мы вовсе не говорим, что национальное чувство не составляет теперь факта уж очень важного, не служит очень сильным пособием к происхождению известных событий, — служит, без всякого сомнения. Но мы видим, что и теперь еще нужны для произведения событий другие причины, кроме этой, что без других причин национальное чувство еще не возбуждает стремления к государственному единству. Мы все это говорим только к тому, чтобы привести в надлежащие границы господствующее преувеличенное мнение, будто бы главная причина нынешних австрийских событий — разноплеменность австрийского населения, будто бы и десятки лет тому назад, как теперь, нужны были бог знает какие усилия, чтобы удержать Австрийскую империю от распада, которым будто бы грозила ей собственно разноплеменность ее провинций. Дело и теперь не совсем таково, как мы увидим; а лет 40 тому назад было решительно не таково.

Из австрийских славян самый сильный оттенок враждебности к нынешнему устройству Австрии имеет национальное чувство у чехов. Известно, что они всегда и были предводителями австрийских славян в политической тактике. Что же? До сих пор огромное большинство прогрессивной партии у чехов считает делом необходимости иметь Вену столицей Австрийской империи, — не говорим уже о том, что оно считает необходимостью сохранить самую Австрийскую империю. В 1848 году это чувство было еще сильнее: чешские депутаты в решительную минуту спасли австрийское правительство на венском сейме. А венгры? Читатель помнит письмо Семере о том, что венграм необходимо поддерживать единство Австрийской империи, что ее разрушение было бы для них гибельно. Увлеченный этой мыслью, Семере говорил даже, что венгры должны принять диплом 20 октября и примириться с венским правительством на его основании. Этот Семере был министром при Кошуте в 1848 году. Сам Кошут еще весной 1848 года не хотел отделяться от Австрии, и знаменитая речь его 3 марта (1848 г.), о которой мы еще будем говорить, заключает в себе выражения искренней преданности австрийскому императору.

Таким образом, даже в начале 1848 года национальное чувство самых радикальных людей между австрийскими славянами и венграми еще не представляло ничего враждебного сохранению Австрийской империи. Другое дело — ломбардо-венецианцы; они тогда уже действительно хотели отторгнуться от Австрии: каким же образом дошло национальное чувство у них до желания отторгнуться от Австрии, а у чехов и венгров, не дошедши до этого, все-таки получило сильный политический вес, когда за тридцать, даже за двадцать лет перед тем оно не имело ровно никакого политического значения?

Дело объясняется очень просто. Есть очень верный способ увидеть чорта: надобно только чувствовать себя достойным попасться в лапы к нему, всматриваться в каждый уголок, не лезет ли он оттуда, и в этой трусости прибегнуть к заклинаниям против него, чтобы он не смел явиться, — он не замедлит притти. С самого 1814 года австрийские правители решили, что следует им бояться злоумышлений против Австрийской империи и у славян, и у венгров, и у итальянцев, которые тогда и в голове своей не имели не только злоумышлений, но и ровно никаких общественных или политических мыслей; что следует также опасаться успехов просвещения у австрийских немцев, не имевших ни капли охоты делать успехи в просвещении. На этих двух соображениях была построена вся внутренняя политика австрийского правительства. Без всякой надобности она стала преследовать просвещение и стеснять все провинции во всем; ну, разумеется, человек — не камень; как бы ни был он бесчувствен, не может он не почувствовать, наконец, стеснения, когда теснят его; вот и явилось неудовольствие против австрийского правительства во всех провинциях. Где население говорило тем же немецким языком, как и правительство, там стали говорить, что стеснительна система, что надобно переменить систему. Но уж это в некотором роде тонкость — разбирать системы и принципы. За такое многотрудное дело берутся люди лишь при отсутствии внешних примет, — например, гораздо легче различить, разнится ли от вас человек цветом волос или покроем одежды, языком или исповеданьем, чем заметить, в чем разница между его и вашим характером, вашим и его образом мыслей. Пойдите вы разбирайте, какой темперамент у человека, а блеск черных глаз у черноволосого виден каждому; вот и решено, что черноволосые люди одарены особенно пылкими страстями. Подобным образом было и в австрийских провинциях, населенных не-немцами: акты стеснительной системы писались на немецком языке, — чего же больше? Значит — стеснительно господство немцев, значит — надобно избавиться от немцев, — и чехи начали толковать о народности, начали толковать о народности венгры, начали говорить ломбардо-венецианцы, что они не хотят быть австрийцами, потому что австрийцы — немцы, а они — итальянцы. А немцы эти были между прочим таковы: по титулу после Меттерниха первым сановником в Вене был Коловрат; исполнителем и проектёром всех стеснительных мер и преследований, настоящим правителем империи по внутренним делам был Седльницкий; усмирал Италию в 1848 году Радецкий; помощниками Меттерниха и Седльницкого были Монтекукколи и Коллоредо; Венгрия управлялась по советам венгерца Аппони; теперь знамениты венгерцы Бенедек и Гиулай, или по венгерскому выговору Джулой, — словом сказать, если разобрать поближе, то из людей, имевших главное участие в управлении с 1814 до 1848 года, едва

ли не один Меттерних оказывается немцем; остальные правители были люди славянской, мадьярской и итальянской народностей. Какая же это немецкая система и с какой стати немцы должны отвечать за Седльницкого, Радецкого, Гиулая и Коллоредо?

Впрочем, мы опять не говорим, что вражды национальностей не было в последнее время перед 1848 годом. Как ей не быть! Была очень сильная. Мы только говорим, что появилась она по обыкновенному порядку почти всех исторических явлений — по недоразумению, по несообразительности. Существуют две массы людей — положим, две нации, которым нет ровню никакой надобности враждовать между собою. Но если одной из них что-нибудь тяжело, она тотчас начинает думать, не виновата ли в том другая; в другом недостатки находить легче, чем в себе, потому и оказывается навсегда, что не мы виноваты в своих бедах, а другие; что нам надобно не исправляться самим для избавления себя от беды, а поссориться с кем-нибудь. Таким образом, две нации, из которых каждая виновата в своих бедах и не виновата в бедах другой нации, начинают сваливать друг на друга вину в своих бедах, — и вот уже является вражда, а при вражде уже необходимо становится бояться друг друга, теснить друг друга, помогать врагу мнимого своего недруга, который отплачивает тем же самым.

«Однакоже, как ни говорите, а душой австрийской системы был Меттерних — немец; его разноплеменные помощники были только исполнителями его воли. Ужасный человек был этот Меттерних; но зато и великого ума был человек. Как же вы говорите, что не нужна, неосновательна была система, которой он держался? Неужели этот великий государственный человек не понимал потребностей своего положения?» Как вам на это отвечать? Лучше всего, вероятно, будет отвечать по правде. Господствующее мнение о Меттернихе совершенно ошибочно. Начать с того, что он вовсе не был ни человек бесчувственный, ни обскурант, как его обыкновенно понимают; напротив, он имел характер мягкий, был расположен к добродушию, снисходительности, состраданию. Он только принужден был, как принужден бывает всякий рассудительный человек, сдерживать доброту своего сердца в случаях крайней необходимости. Что же касается до обскурантизма, то Меттерних очень недолго любил его; если была у него душевная склонность к какому-нибудь образу мыслей, то уж, конечно, к либеральному; он ни мало не таил, что желал бы сделать Австрию конституционным государством, — к своему сожалению он видел только, что это невозможно; наверное, он не уступал просвещенностью своего образа мыслей ни Токвиллю³, столь знаменитому у нас, ни Гизо⁴, еще более знаменитому, и без всякого сравнения был в душе либеральнее Тьера⁵. Но, опровергая одну сторону ошибочного мнения о нем, будто бесчувственным обскурантом, мы должны, к сожалению, прибавить, что столь же ошибочно считать его человеком обширного ума. Чего он

хотел? Конечно, того, чтобы Австрия имела влиятельный голос между великими европейскими державами, — возвышать дипломатическое значение своего государства — цель всякого дипломата. Никогда Австрия не была так ничтожна в дипломатическом отношении, как при Меттернихе. Припомните европейскую историю тех времен. Очень важные роли играют в ней Англия, Россия, Франция. Австрия вечно является второстепенною спутницею той или другой из этих держав. Самостоятельного голоса она не имеет ни по какому общему европейскому вопросу. В самой Германии русское влияние господствовало над австрийским. Кто хочет убедиться в дипломатической слабости Меттерниха, должен только просмотреть историю переговоров о немецком таможенном союзе. Все второстепенные немецкие государства всегда желали опираться на Австрию против Пруссии. Пруссия успела принудить всех их подчиниться ее господству в торговых делах, вступить в таможенный союз, которым распоряжается она⁶. Чего, чего не старался сделать против этого Меттерних, — но ничего не сумел сделать. Он мешал возникновению таможенного союза. Союз возник и постепенно расширялся. Меттерних хотел заключить такой же союз с южными и средними немецкими государствами, пока Пруссия привлекала в свой союз северные, — не удалось ему и это. Государства, расположенные к Австрии, составили, наконец, свой особенный союз, видя, что с Меттернихом ничего не сделают; надобно было по крайней мере поддержать этот союз, противный прусскому, — Меттерних и того не сумел сделать. История этих жалких, неловких, вялых попыток его — самая комическая история. Не показывают в нем большого искусства и дела его со Швейцарией. Швейцария постоянно расположена была искать опору себе в Австрии, опасаясь быть снова поглощена Францией. Меттерних постоянно отталкивал от себя эту союзницу ссорами из-за неважных для него причин. Столь же очевидно бессилие Меттерниха и во внутренней политике. Напрасно думают, что он был врагом нововведений, — он постоянно занимался проектами разных преобразований и улучшений, только ни одного не успел сделать в 34 года своего управления: он поднимал вопрос, начинал совещания о нем, дело тянулось, потом встречалась какая-нибудь помеха, оно бросалось, потом опять возобновлялось. Сколько хлопот, например, было у Меттерниха с австрийским тарифом! И все-таки ничего не вышло из всех его хлопот.

Меттерних принадлежал к числу таких же людей, как Талейран: они умеют чрезвычайно ловко вести разговор или переписку о какой угодно теме, но сами придумать никакой темы не могут. Талейран при Наполеоне совершал чудеса дипломатического искусства, потому что Наполеон говорил ему: «На это дело надобно смотреть вот как; я хочу, чтобы вы сказали или написали вот что и вот что, а вы придумайте, как бы сказать или

написать это поизящнее». Без Наполеона Талейран оказался идеалом ничтожества. Меттерних, подобно ему, был создан служить секретарем, делопроизводителем, докладчиком, — словом сказать, служить превосходною правой рукой для кого-нибудь. На его беду пришлось ему не облекать в прекрасную форму чужие мысли, не хлопотать самым ловким образом об исполнении чужих планов, а придумывать планы самому, — это было уже не по его силам. Мы беспрестанно видим людей, которые кажутся чрезвычайно умны, пока добиваются первого места в каком-нибудь деле, и оказываются очень плохи, когда займут первое место. В этих людях энергия характера вся поглощена изворотливостью на счет твердости, сила ума вся направлена на мелочи, в которых они — величайшие мастера и которыми они занимаются так мастерски, что уже никак не могут сообразить ничего существенного. Умны ли они? Бог знает как сказать: вероятно, очень умны; потому что с первого же раза производят на всех впечатление очень умных людей, которое и продолжается до той поры, когда случится вам иметь с ними важное дело. Знаменит в этом роде по военной части Макк, который всех поражал необыкновенным умом, пока не поручили ему командовать армией⁷. Не столь знаменит Вейротер, так отлично устроивший Аустерлицкое сражение⁸, но этот Вейротер замечателен тем, что, будучи в чине полковника, показался гениален даже самому Суворову, очень проницательному человеку и притом не любившему хвалить австрийцев.

Мы замечаем однако, что, опровергая господствующий ошибочный взгляд на Меттерниха, мы сами допустили в наши слова одну, едва ли не самую важную ошибку из этого неосновательного взгляда. Мы говорили, что Меттерних, будучи способен исполнять лишь должность секретаря или делопроизводителя, не имел дарований, нужных главному распорядителю. Но дело в том, что напрасно и думают, будто он был главным правителем Австрийской империи, будто он мог следовать своей системе, действовать самостоятельно. Вовсе нет; его власть была очень обширна или, пожалуй, безгранична, но лишь на том условии имел он ее, чтобы поддерживать известную систему, не им составленную. Он был действительно только тем, к чему имел полную способность — был исполнителем чужих мыслей. Первые 20 лет своего всемогущества (до 1835 г.) он управлял государством в императорствование Франца I. Имя Франца I далеко не так знаменито, как имя его министра, но существенный ход дел был направляем тогда не Меттернихом, а самим императором. Франц I не любил блистать, не имел ослепляющих дарований к изящным разговорам, но имел все качества самостоятельного делового человека. Он вникал во все подробности дел до самых мелочей каждого отдельного управления; у него был очень определенный и совершенно твердый взгляд на вещи;

все, что делалось при нем, должно было делаться в его духе; он охотно признавал превосходство сообразительности в своем министре, уважал его блестящие таланты, но справедливо находил, что сам не нуждается в опекунах, сам может давать направление, и давал его. Меттерних при нем был только исполнителем воли императора. По кончине Франца I Меттерних 13 лет был уже действительно главою государства, — это правда; но в прежние 20 лет он так проникся системой, служителем которой был, что, и получив свободу распоряжаться делами, не мог уже действовать иначе, как в прежнем духе, — да и поздно было бы ему изменяться или перевоспитываться: в 1836 году он имел более 60 лет. Притом же и в это время свобода действий принадлежала ему больше на словах, чем по сущности отношений. Здесь мы должны сделать небольшое отступление.

В Англии, в Бельгии, в нынешней Италии государственный человек, превосходящий своих совместников умом, может доставить своим личным убеждением большое влияние на государственные дела. Во-первых, он пользуется свободой стать на ту или другую сторону. Чтобы приобрести помощь его дарований и авторитет его имени, каждая из соперничающих партий готова бывает сделать довольно большие уступки его убеждениям. Так теперь Пальмерстон, не долюбивающий реформ, очень сильно сдерживает прогрессивную партию в Англии. Без него, вероятно, давно уже была бы произведена вторичная реформа палаты общин; но из уважения к нему, из надобности в его содействии прогрессисты или бездействуют, или действуют слабо. Точно так же, только в противоположном смысле, силен был герцог Веллингтон: когда он видел, что без произведения реформы или поднимется волнение в государстве или отнимется власть у тори, он вынуждал торийскую партию производить самые ненавистные ей реформы. Тут мы действительно видим громадное влияние личной воли известного человека на государственную жизнь. Еще, быть может, ярче выказывается эта сила отдельного человека в таких карьерах, какою были последние годы жизни Роберта Пия. Когда он потребовал слишком громадной уступки от партии, признававшей его своим предводителем, и когда тори не согласились на эту уступку — на отмену хлебных законов, Роберт Пиль отошел от них в сторону, стал один в совершенной независимости ни от каких чужих желаний. Тотчас же нашлось довольно много людей, которые стали безусловно поддерживать его, полагаясь на его ум больше, чем на свои собственные симпатии или антипатии к спорным решениям. Таким образом, Роберт Пиль сделался настоящим владыкою английской государственной жизни: от него зависело, — уже лично от него, исключительно от него, — пропустить или отвергнуть каждую меру, посадить, удержать или низвергнуть каждое министерство. Он стал так могуществен, что уже не

соглашался быть первым министром, — он просто приказывал первому министру делать так или иначе. В Австрии никто, каким бы титулом ни пользовался, не мог иметь подобного личного влияния на дух управления. Тут правитель окружен исключительно людьми известного направления и по самым формам устройства никак не может заменить их людьми другого направления; он имеет полную власть менять своих советников и помощников, как ему угодно: но все новые непременно будут людьми одной партии со старыми. Если б он захотел произвести какую-нибудь реформу, он или был бы остановлен их советами и сопротивлением, или, поручив им исполнение своей мысли, отдал бы реформу в распоряжение людей, не сочувствующих ей, и они повели бы дело так, что реформа ограничилась бы одними словами, а сущность дела осталась бы прежняя. Но трудно ему и пожелать реформы, которая действительно касалась бы сущности вещей, потому что человек не в состоянии бывает ясно знать или желать того, что превышает круг понятий среды, воспитавшей и продолжающей окружать его.

Кто беспристрастно взвесит силу этих обстоятельств, тот не будет винить ни Меттерниха, ни Франца I за то, что они держались известной системы. Отделиться от нее было не в их власти. А если б и произошло в их личных мыслях явление, которое никак не могло произойти, если б лично в них и явилось сомнение относительно достоинств господствующей системы, явилось желание изменить ее, от этого не произошло бы никакого фактического результата, потому что ни Меттерних, ни сам Франц I не имели никакой личной силы над господствующей системой: они имели полную власть делать все, чего требовала эта система, но ничего иного не в силах были бы исполнить. У них была только форма личной силы, а существенной власти не было. Так распоряжается, повидимому, всем на пароходе и всеми движениями самого парохода капитан; но в его ли власти изменить рейс? Нет, он полновластен лишь для того, чтобы удерживать пароход в направлении, данном не волею капитана.

Австрия сложилась известным образом; вследствие известных исторических событий господство над австрийскою общественною жизнью принадлежало известным кругам общества, и сообразно с их интересами была устроена государственная машина; она по необходимости должна была действовать против элементов, несогласных с интересами господствующих сословий или кругов. Франц I и Меттерних были только органами этих коренных властей, составляющих своего рода парламент, хотя и без имени парламента, хотя и с враждою против такого названия.

Если б не это существенное обстоятельство, был бы непонятен весь ход австрийской истории до 1848 года. Положим, например, Меттерних или Франц I считали Ломбардо-Венецианское королевство готовым отторгнуться от Австрии. Не только

таким деловым людям, как он, но и людям, малоопытным, сам собою бросался в глаза факт, дававший верную возможность обратить массу ломбардо-венецианского населения в самых усердных приверженцев австрийского господства. Ломбардо-венецианские поселяне должны были очень много давать землевладельцам за пользование землею; к политике и к национальности поселяне были совершенно равнодушны; но своими поземельными отношениями они очень тяготились. Стоило только приступить к выкупу земель в Ломбардо-Венецианском королевстве, — и поселяне прониклись бы безграничной преданностью к австрийскому правительству. Ничего подобного не сделал и даже не думал делать Меттерних, — это даже не приходило ему в голову. Отделенный своей обстановкой от всего остального в государстве, он едва ли даже знал факт, известный каждому, находившемуся не в этом заколдованном кругу; а если он когда и слыхивал о нем, — что очень сомнительно, — он решительно не мог знать его в настоящем виде. Наконец, если б он и знал ясно факт, которого, вероятно, не знал и смутно, он не в силах был бы подумать о том, чтобы воспользоваться им для упрочения австрийского владычества в Италии: такая мера была бы противна всему настроению мыслей, какое навевалось на Меттерниха всем его окружающим, была бы противна духу господствовавшей системы; притом же она и не могла быть проведена посредством тех органов действия, которые одни находились в распоряжении у Меттерниха.

На какую провинцию Австрийской империи мы ни взглянем, везде мы увидим подобные факты, бывшие очевидными для всех и незаметными или непонятными только для Меттерниха и других австрийских правителей.

Он не создал господствующую систему; он не в силах был изменить ее; но, оправдывая его как отдельного человека, не бывшего ничем хуже других, мы должны сказать, что система, органом которой он был, система, с успехом применявшаяся к делу во времена Марии Терезии⁹ и Леопольда¹⁰, оказывалась непригодною для XIX века и потому не могла не произвести дурных последствий. Мы уже видели, какими формами облеклось ее несоответствие с характером времени. В немецких провинциях прямо обнаруживался дух системы; и в 1848 году лозунгом неудовольствия прямо и служила сущность дела: потребность политических прав для населения. Мы не хотим подробно передавать здесь результаты, какой сам собою будет вытекать из последующего рассказа о событиях; но все-таки выскажем здесь в коротких словах это заключение, которое придавало бы комический вид всему делу, если бы могли быть смешны недоразумения, наделавшие столько страданий стольким миллионам. Каждому известно, что человеческие стремления разгораются с преувеличенной силой, когда должны рваться против препят-

ствий и преследований. Из этого следует, что сила, с какою в 1848 году обнаружилось подавлявшееся тридцать лет стремление к политическим правам, была гораздо значительнее, чем какой достигло бы это стремление, если б не было раздражаемо стеснительностью прежней системы. Что же мы видим, однако, и в 1848 году в так называемых либералах и, пожалуй, радикалах немецких провинций Австрии? Мы видим в них людей, не доверяющих своим силам, не надеющихся на свое умение, готовых полагаться во всем на правительство, искреннейшим образом преданных мысли, что надобно поддерживать его, никак не следует ослаблять его, сознающих, что сами не знают ничего, не могут судить ни о чем, что правительство должно просвещать их, готовить для них решения. Стоило ли опасаться таких людей, стоило ли преследовать их, стоило ли даже отказывать им в их младенческих желаниях? Решительно не стоило. Если бы с такими людьми имел дело действительно проникательный человек, он и не стал бы заботиться, какую конституцию для них составить, а просто сказал бы: друзья мои, напишите все, что приходит вам в голову, — я все подпишу, не читавши. И он сдержал бы слово, потому что при какой бы то ни было конституции он все-таки остался бы с такими людьми безграничным властелином во всех делах. Превосходнейшим доказательством тому служит история Пруссии в последние двенадцать лет. В Пруссии население, конечно, гораздо развитее относительно политической жизни, чем в немецких провинциях Австрии; а между тем, что мы видим в Пруссии с 1848 года по настоящую минуту? Покойному королю прусскому казалось — нужно управлять государством по известной системе; зная такое желание короля, пруссаки выбирали депутатов, совершенно согласных с этою системою. Два года тому назад, по неизлечимости тяжелой болезни короля, начал управлять государством брат его, державшийся другой системы; пруссаки в соответствии мыслям регента выбрали других депутатов, вполне разделяющих его желания. Таким образом, палата представителей нимало не стесняет свободы действий прусского короля: он и теперь управляет государством столь же полновластно, как управляли его предшественники до возникновения палаты депутатов. А если в Пруссии палата депутатов до сих пор остается нимало не стеснительною для правительства формальностью, то в Австрии, менее развитой, она была бы еще менее стеснительна до сих пор, а еще гораздо меньше влияния на дела имела бы тридцать или сорок лет тому назад, при Франце I и Меттернихе.

Но беспрестанно мы видим примеры, что человек становится недоволен, не получая на свое желание согласия, которым не воспользовался бы, если бы получил его. Мы говорили, что так и случилось с австрийскими немцами: у них явилось и стало расти неудовольствие на то, что не предоставляются им

политические права, из которых, наверное, они не сделали бы никакого употребления, когда бы Меттерних не опасался удовлетворить их желание. В немецких провинциях, как мы говорили, система Меттерниха стала считаться реакционной.

В других провинциях, населенных славянами, венграми или итальянцами, называлась она иначе — системой онемечения, вражды против национальностей. Оно, если хотите, так по наружности, но сущность дела состояла не в преследовании национальностей как национальностей. Правда, что в Богемии преследовалась чешская литература, изгонялся чешский язык из училищ и т. д. Но дело тут было не собственно в чешском языке: писателям, которые в Вене желали на немецком языке писать против господствующей системы, противопоставлялись точно такие же препятствия, как чехам, желавшим в Праге писать на чешском языке; кто хотел писать по-чешски в духе Меттерниха, находил столько же поощрения, как и немецкий писатель такого же направления. Разница была только в том, что чехи, поддерживавшие систему Меттерниха, сами любили писать на немецком языке, а между людьми, желавшими писать на чешском языке, было очень мало лиц такого направления. Оно и естественно: официальные мысли удобнее всего излагать на официальном языке для официальной публики. Виноват ли был Меттерних в этом обстоятельстве, — в предпочтении к немецкому языку со стороны чехов, поддерживавших его систему, в недостатке у них любви к чешскому языку, к чешской литературе? Нам кажется, что винить его за этот факт так же напрасно, как порицать его за пристрастие к французскому языку в светских кругах. Можно ли также видеть несправедливость собственно к чешской литературе в том, что для чешских книг были поставлены точно те же границы, как и для немецких? Точно то же, что о чешской народности, надобно сказать о всех других славянских, и о венгерской, и об итальянской народностях. Сущность дела была тут не в любви или нелюбви к тому или другому языку, а в том, какие направления мыслей одобряются или не одобряются, на каком бы то ни было языке, — все равно. Мы очень хорошо понимаем, что многим из читателей нелегко будет с первого раза согласиться на взгляд, излагаемый нами. Слишком распространено и укоренено ошибочное представление, будто бы при Меттернихе стеснялась собственно, например, чешская литература; но понимать дело таким образом — значит останавливаться на внешних приметах, не вникая в смысл факта. Говорят, например: стеснена была у чехов разработка чешской истории. Так, бесспорно так, но почему? Первым делом чеха, пишущего о чешской истории, было стремление восхищаться Гуссом¹¹, прославлять Жижку¹², оправдывать чехов, начавших 30-летнюю войну, оплакивать Белогорскую битву¹³, разумеется, не дозволялось писать таких вещей на чешском языке; но разве допуска-

лись подобные вещи и на немецком языке? А разве не был бы поощряем чешский писатель, который стал бы говорить в противоположном смысле? Говорить тут о языке, а не о направлении — грубое недоразумение.

Но история едва ли не еще богаче грубыми недоразумениями, чем самыми войнами и сражениями. Чехи, венгры, итальянцы Австрийской империи прямо так и поняли дело, что оно состоит в стеснении их народностей, между тем как стеснение их народностей было лишь внешним признаком дела в их провинциях. А забавнее всего то, что и сами австрийские немцы, которым по собственному опыту легче было бы разобрать, в пользу ли их ведется это дело, тоже обманулись внешним признаком и воображали, что из любви к своей народности должны сочувствовать влиянию — тяготевшей над ними самими — системы на жизнь других племен. Кажется, они могли бы замечать, благоприятствует ли развитию немецкой литературы или ученой жизни в Австрии система, на которую жаловались итальянцы и чехи. Но нет, они так и положили, что не должны сочувствовать стремлениям славян и итальянцев. Увидев их нерасположение к себе, итальянцы и славяне, разумеется, стали платить им такую же вражду.

Зачем было нужна, кому могла быть полезна вся эта дикая путаница стеснений, антипатий, реакционных мер? Наверное, она не была в самом деле ни нужна, ни полезна ни одному из этих племен, ни самому Меттерниху, на личности которого все, повидимому, основывалось, между тем как в сущности он почти ровно ничего не значил. О вреде этой путаницы для самих племен Австрийской империи, в том числе и для немецкого племени, мы не станем говорить, потому что он замечен каждому. Но любопытно обратить внимание на то, что олицетворявшаяся в Меттернихе система приносила только один вред самому Меттерниху, и если б он был действительно умным человеком, не захотел бы он держаться ее. Вспомним только, кто такой был он. Он был первый министр, он почитался полновластным правителем государства. В чем же состоит интерес правителя, — мы не будем пускаться в сантиментальные фантазии, а возьмем дело с материальной, житейской, политической или дипломатической стороны, — в чем состоит интерес правителя по этим обыкновенным расчетам? Ему выгодно быть могущественным, иметь в своем распоряжении хорошее войско, богатую казну, чтобы возвышать свой голос в европейских делах, чтобы самому ни в ком не нуждаться, а быть предметом зависти, удивления, заискивания со стороны других. Вела ли к тому система, исполнявшаяся трудами Меттерниха? Австрийский бюджет был скуден; денег в казне не было; даже занимать деньги можно было только за границею, — венская биржа зависела, и вместе с нею Меттерних зависел, от франкфуртских, амстердамских, парижских,

лондонских банкиров; австрийская армия была плоха; голос Австрии был ничтожен перед голосами Англии, России, Франции; австрийский кабинет только и делал, что заискивал милости у какого-нибудь другого кабинета, смирялся перед каким-нибудь кабинетом. С каждым годом эти жалкие отношения становились все беднее, ниже, хуже. Средства других держав развивались, средства Австрии оскудевали.

Нет, такая система противоречила выгодам первого министра. Не надобно, кажется, прибавлять, что интересы Меттерниха были совершенно одинаковы с интересами габсбургского дома и что о выгодах Франца I и Фердинанда I¹⁴ следует сказать то же самое, что о выгодах первого министра этих государей.

Кому же была нужна и полезна эта система, невыгодная и для австрийского правительства, и для населявших Австрию племен? Это мы поймем из следующего рассказа, когда увидим, какой существенный характер принадлежал перевороту 1848 года. В событиях этих много было шума, заглохшего потом как будто без следов, много было стремлений, потерпевших полную неудачу, — но среди всех неудачных попыток совершился один факт, уцелевший невредимым, несмотря на всю беспощадность последовавшей затем реакции. Этот факт — уничтожение феодальных обременений, тяготевших над австрийскими поселянами. Неужели противно было истинным интересам Франца I или Фердинанда I, или Меттерниха избавить поселян от феодальных повинностей и платежей? Неужели выгодно им было поддерживать феодальные привилегии, отнимавшие у них самих всякую силу? Разумеется, нет; но они были слишком слабы для исполнения дела, требуемого собственными их выгодами, — и только по слабости их, только по робости их приняться за исполнение этого дела, выгодного для них самих, поддерживалась ими система, невыгодная для них самих и породившая события 1848 года.

II

Брожение, предшествовавшее перевороту, началось не в столице Австрийской империи, а в Ломбардии, Венеции, Венгрии, Богемии. Но венскими событиями дан был решительный толчок перевороту. Потому начнем с Вены.

Меттерних и Седльницкий очень зорко сторожили и за немецкой литературой в Австрии, и за всеми другими явлениями, которые считаются опасными для господствующего порядка с точки зрения людей, подобно Меттерниху и Седльницкому не понимающих, что никакие изустные или печатные речи не производят никакого дела, если оно не готово произойти без всяких речей; а если оно должно произойти из существующих общественных отношений, то никакое молчание не задержит его хода. В са-

мой Австрии не печаталось ни книг, ни журналов, ни газет, которые имели бы хотя малейшее политическое значение. Почти все немецкие газеты, печатавшиеся за границами Австрии, были запрещены в ней; была запрещена чуть ли не половина и книг, издававшихся в Германии. Словом сказать, были заперты, повидимому, все входы, которыми политическое волнение могло бы проникнуть в Австрию, и были отняты у него все способы обнаружиться. Но дело в том, что никакими средствами нельзя бывает скрыть главных фактов внутреннего быта и общей европейской истории; а факт всегда уже производит свое действие на умы, хотя бы являлся без всяких разъяснений: главный характер его бывает виден сам собою. Так было и в Австрии. Когда стало овладевать Италиєю, Франциєю, Германиею волнение, предшествовавшее событиям 1848 года, никак нельзя было утаить от австрийской публики, что умы волнуются во всей остальной Европе; когда начались перевороты в Италии, Франции, Западной Германии и в Венгрии, потрясение, ими произведенное, отразилось и в самой Вене, по необходимости, так сказать чисто физически. И удивительно было видеть, каким ничтожным органам общественного мнения придана была непреборимая сила тем обстоятельством, что не нашлось других более значительных органов для передачи потрясения. Это было в том роде, как люди бьют друг друга камнями, если не имеют оружия, бьют друг друга кулаками, если не имеют даже и камней. Дело тут зависит не от изобилия средств, а только от расположения духа. При миролюбивом расположении люди спокойно беседуют в арсенале или лавке оружейника; вздумав подраться, могут перебить друг друга, не имея ничего, кроме кулаков. В Лондоне 1848 год прошел мирно, несмотря на приготовленность всех средств для агитации, несмотря на свободу парламентских прений, журналистики, несмотря на свободу составлять какие угодно общества и митинги. Посмотрите же, какие ничтожные средства оказались в то же время достаточными для произведения переворота в Вене.

Представительные формы не имели ровно никакой силы в правительственном механизме немецких провинций Австрии. Провинциальные феодальные сеймы, состоявшие из представителей аристократии, были враждебны не только политическим, но и всяким мыслям или потребностям нового времени, потому никто не обращал на них ни малейшего внимания, и собирались они лишь для соблюдения формы, да и не были уничтожены лишь потому, что очень давно стали совершенно ничтожны. Когда усилилось волнение умов в остальной Западной Европе около 1845 года, в некоторых из этих сеймов некоторые, впрочем лишь очень немногие, представители австрийской аристократии стали обнаруживать несколько либеральный образ мыслей. При ничтожности самых собраний и при непоколебимом консерватизме огромного большинства в каждом из них, либеральные речи

оставались совершенно пустою забавой, до того робкою и безвредною для Меттерниха, что он даже и не считал нужным косо смотреть на титулованных либералов: находясь на службе, они получали награды и повышения наравне с другими, как люди совершенно невинные, какими действительно и были: они только потешались вздорными разговорами без всякой серьезной цели. Например, в провинциальном сейме эрцгерцогства Нижней Австрии, — сейме, собиравшемся в Вене, — особенно любили полиберальничать Доббльгоф, Монтекукколи, Шмерлинг (нынешний министр); все трое они занимали важные места по гражданской службе или в придворном штате, пользовались благосклонностью Меттерниха, а Шмерлинг незадолго перед 1848 годом получил повышение по службе.

Кроме заседаний провинциального ниже-австрийского сейма, либеральные люди могли зарекомендовать себя публике в Вене на вечерах двух-трех, устроенных для невинного развлечения обществ. Из них важнейшее было «Общество для чтения», «Lese-verein»; это было нечто среднее между учреждениями вроде наших английских клубов и учреждениями вроде Географического общества; от английского клуба отличалось оно тем, что не имело в своей зале столов для карточной игры, а от Географического общества тем, что не наряжало экспедиций и не издавало книг; но, подобно английскому клубу и Географическому обществу, устраивало оно обеды для посещавших Вену знаменитостей чиновного или ученого мира. Седльницкий, вообще слишком уже мрачно смотревший на вещи, не долюбивал «Общества для чтения» и говаривал: «кто в него вступает, зачитывается до преступности». Но Меттерних, более умный и добрый человек, находил подозрительность Седльницкого делом неосновательным. Да и правда, что общество было самое невинное и вздорное. Большинство членов в нем составляли чиновники; занимательнейшими собеседниками считались профессора Венского университета, а в профессора Венского университета люди назначались не иначе, как с одобрения иезуитов; наконец, главным покровителем Общества и душою его был Зоммаруга, воспитатель эрцгерцогов императорского дома, в том числе отца нынешнего австрийского императора, — сановник, справедливо уважаемый тогдашним венским двором. Блистательнейшим гражданским подвигом в летописях «Общества для чтения» был обед, данный когда-то в честь знаменитого немецкого политико-эконома Фридриха Листа, прославившегося изобретением теории, что у немцев должна быть своя особенная политическая экономия, различная от англо-французской. Не столь важно было «Благотворительное общество» (Hülfsverein), занимавшееся приготовлением «супа для бедных», — читатель не должен смеяться над этим выражением: оно подлинное, автентичное и имеет еще то достоинство, что совершенно характеризует всю деятельность и все стремления почтенного

общества. Было еще третье общество, называвшееся «Concordia», основанное венскими художниками, преимущественно живописцами: они собирались по вечерам похвастать друг перед другом эскизами будущих картин и этюдами, рисованными в один карандаш или в два карандаша; некоторые из них пописывали стишки и почитывали их на вечерах в дополнение к своим картинкам; словом сказать, время проходило с большой пользой для искусства и, вероятно, еще с большою пользою для доброй нравственности художников, которые на этих вечерах, по крайней мере, отвыкли напиваться допьяна и привыкли держать себя пристойным образом. Сам Седльницкий убедился, наконец, в благонравном направлении юных и престарелых жрецов искусства и смотрел на «Конкордию» с благодушием.

Так и шли себе дела в этих будущих центрах революционного движения: в одном центре рисовались очень миленькие акварели, в другом варился не слишком вкусный, но чрезвычайно благотворительный суп, в третьем рассуждали за обедами «о Байроне и материях важных», в четвертом, — но четвертый центр существовал лишь по несколько дней в году, зато прямо уже занимался в эти дни политикой, рассуждая о ремонте почтовых дорог в эрцгерцогстве Нижне-Австрийском и с каждым годом блистая все большим количеством лент и звезд, даваемых от Меттерниха в награду знатным ораторам провинциального сейма за их усердную службу¹⁵.

Вообразите же себе теперь положение жителей благонравного города Вены в начале марта 1848 года! Вдруг читают они во французских газетах, — то есть во французских газетах не читают, потому что французские газеты с незапамятных времен не допускаются до Вены, — а читают в «Аугсбургской Газете», что произошла в Париже какая-то катавасия, составилось какое-то временное правительство из Ламартина, Араго, неслыханного никем в Вене Ледрю-Роллена¹⁶. Что это за вещь такая Ледрю-Роллен? Фамилия человека это или название какой-нибудь должности? А Ламартину вовсе не след быть правителем; жителям Вены известно, что он пишет стихи, очень сантиментальные и длинные; или это однофамилец поэта? Странно также читать в списке правителей имя Араго, — ведь он астроном; что же, новое правительство не затем ли устроилось, чтобы в каждом французском городе устроить по обсерватории? Постепенно «Аугсбургская Газета» объясняет, что новое правительство занимается не устройством обсерваторий и не сочинением стихов; оно хочет переделывать французские законы; «Аугсбургская Газета» прибавляет, что всей Европе грозит опасность от задуривших французов. А тут само австрийское правительство объявляет, что собирается также дурить Милан; а тут и в Германии начинается такая же каша. Жители доброго города Вены чувствуют то же самое, что чувствует неопытный пленец, поступивший

юнкером в гусарский полк и увидевший, как кутят другие юнкера. Ему и совестно, он и краснеет, но стыдно ему отстать от других. Париж, Мюнхен, Франкфурт, Берлин, Турин, Милан, Венеция, Рим, Неаполь, Палермо волнуются: рассудите, добрые люди, как же отстанет от них Вена? Да после этого она будет хуже Мюнхена! Нет, она не отстанет от других.

Но ведь там волнуются везде с какими-то политическими требованиями. «Как бы это придумать и нам свои политические требования?» — думают наивные дети города Вены. — А! да штука тут не хитрая, скоро решают они. В других городах везде кричали, что надобно прогнать прежнего министра, значит — в Вене надобно кричать, чтобы прогнали Меттерниха. Там везде кричали о замене прежней реакционной системы либеральной, стало быть — и тут жителям Вены материал требований уже приготовлен.

Но штука состояла в том, что в Австрии существовали два важные обстоятельства, о которых нечего было хлопотать ни прусским, ни другим германским прогрессистам или революционерам. Франция и Германия — страны, населенные одним племенем: число немцев во Франции, поляков в Германии так незначительно по сравнению с господствующим племенем, что не могло иметь важного влияния на ход дел. Парижские французы, берлинские и франкфуртские немцы могли не заботиться о других народностях. В Австрии не то. Венские немцы были представителями лишь незначительного меньшинства жителей империи. Судьба и всего государства, и самой столицы зависела от того, в какие отношения австрийские немцы и представители их, венские граждане, станут к другим племенам. Прежняя система развила в этих племенах недоверие и вражду к немцам. Следовало бы, кажется, подумать об этом, следовало бы позаботиться о том, чтобы расположить другие народности в пользу венского движения. Венским простакам не пришло в голову такое мудреное соображение.

В Пруссии, Вюртемберге и т. д., а тем более во Франции, сельское население давно уже было сравнено в правах с городским. В Австрии еще существовало крепостное право. Толковать о нем ни в остальной Германии, ни во Франции уже не приходилось прогрессистам, а в Австрии следовало бы не забыть о поселениях. Венские простаки не сообразили и этого.

При такой наивности составить программу требований было для них нетрудно: они выхватили из французской и германской программ вещи, какие припомнились им, — и дело было в шляпе. Но вот важное затруднение: везде у прогрессистов были предводители, существовали организованные комитеты, управлявшие движением. Как же быть теперь жителям доброго города Вены, у которых всякого рода знаменитостей было достаточно, — много было славных каретников, рестораторов, капельмейстеров и т. д., не было лишь одного сорта людей, прежде считавшегося ненужным и вдруг понадобившегося до крайности: не было ни револю-

ционеров, ни даже либералов, хотя бы мало-мальски известных публике. Но при усердии не отстать от других столиц Вена и тут не сконфузилась. Из художников, рисовавших картинки, из благодетелей, варивших суп, из чиновников, любивших почитать хорошие книжки, а в особенности из вельмож провинциального ниже-австрийского сейма, признанных полезными людьми от самого Меттерниха, глубокого знатока людей, — мало ли можно было набрать советников и руководителей на новое дело? И вот жители доброго города Вены возложили свое упование на общество для рисования картинок, на общество для варения супа, а еще больше на общество, соответствовавшее шустер-клубу *, а еще больше на провинциальный сейм. Сама судьба явно благоприятствовала расчетам на провинциальный сейм: когда ни Милан, ни Париж еще не делали ничего образцового для Вены, стало быть и Вена не чувствовала никакой надобности отличаться на революционном поприще, Меттерних назначал ниже-австрийскому сейму собраться 24 марта для обычных невинных упражнений в красноречии. Но после парижских событий явилось в городе волнение, начались толки о том, как ниже-австрийский сейм будет ходатайствовать перед правительством в пользу реформ, и Меттерних из любезности к благонравным жителям столицы ускорил срок собрания сейма с 24 марта на 13-е. Тут виден замечательный ум Меттерниха, как во всех его действиях, но вместе с тем видна, как во всех его действиях, и вялость, не дававшая ему сделать ничего как следует. Ускоряя открытие сейма, он справедливо рассчитывал, что чем раньше дать такой надежный орган в руководство венскому движению, тем вернее удержится движение в размерах, безвредных для прежней системы. Но при этом основательном расчете следовало бы уже не терять времени. По первому же известию о парижском перевороте Меттерних должен был сообразить, что умы в Вене начнут волноваться; надобно было бы тотчас же созвать сейм, чтобы с первого же дня движение было захвачено в руки ораторами этого сейма, людьми безопасными для Меттерниха. Он пропустил более двух недель драгоценнейшего времени; в эти две недели городская молодежь, не имея готовых руководителей, успела разгорячиться до того, что сейм уже не мог совладать с толпой. В эти две недели Вена успела подвергнуться возбуждающему влиянию отголосков, произведенных парижским переворотом в Венгрии. На венгерском сейме оппозиция под предводительством Кошута давно уже стремилась восстановить прежнюю автономию Венгрии и произвести либеральные реформы в законах. До парижского переворота она имела мало надежды на скорое достижение своих целей, но теперь ободрилась, и 3 марта Кошут произнес в Прессбурге перед сеймом речь очень сильную.

* Клуб салонников. — Ред.

Сущность речи состояла в том, что прежняя система австрийского кабинета вредна не для одной Венгрии, а также и для всех других провинций, и что свобода Венгрии может быть ограждена лишь в том случае, когда все другие провинции получают конституционное устройство; потому он предлагал венгерскому сейму просить императора о даровании конституции всем австрийским областям и об удалении не только Меттерниха, но и самого эрцгерцога Людвига, который при болезненном состоянии императора был регентом империи, хотя и не носил этого титула. Мы увидим, какой решительный толчок венским событиям придало чтение немецкого перевода этой речи перед массой в первый день венского переворота.

Шум в Вене поднимался уже очень громкий. Благоразумные люди, желающие отстранить насильственный переворот, уже видели надобность поскорее занять место посредников между правительством и столицей, место, которое выгоднее всего для Меттерниха было бы занять провинциальному сейму. В заседании венского промышленного общества (*Gewerbverein*) 8 марта председатель этого общества Артгабер, один из богатейших венских фабрикантов, предложил подать императору адрес и прочел проект адреса, — он был принят единодушно всем собранием, в котором находились эрцгерцог Франц-Карл, отец нынешнего императора, и государственный министр Коловрат, первый сановник империи после Меттерниха. Они оба уже понимали необходимость немедленных больших уступок. За четыре дня перед тем, 4 марта, явилась в «Официальной Венской Газете» статья, которая провозглашала, что при волнениях, охватывающих Европу, Австрия может избавиться от бедствий только «твердой решимостью подданных быть в единодушии с правительством». Адрес Артгабера отвечал на это, что Австрия может спастись только «твердую решимостью правительства быть в единодушии с подданными». По принятии адреса собранием, представлявшим собою все коммерческое сословие Вены, Артгабер обратился к эрцгерцогу Францу-Карлу с просьбой, чтобы он лично передал адрес императору. Эрцгерцог отвечал, что он сделает это и что он сам разделяет мнение промышленного собрания. Эрцгерцог Карл-Франц не имел важного влияния на дела по слабости характера и отсутствию дарований. Но его супруга, эрцгерцогиня Софья, мать нынешнего императора, к которому должен был тогда перейти престол при бездетности Фердинанда I, отличалась энергией. Она уже несколько дней требовала от Меттерниха уступок для упрочения престола своему сыну. Однажды после очень жаркого спора с Меттернихом она сказала, уходя из залы, что, не деля уступок, Меттерних готовит ее сыну участь герцога Бордосского¹⁷.

У популярнейшего из членов ниже-австрийского сейма, будущего министра Доббльгофа¹⁸, собирались его товарищи,

ожидавшие в Вене начала заседаний, и некоторые другие лица, в том числе будущий министр, а тогда простой адвокат Бах, ставший впоследствии времени самым горячим слугою реакции, а тогда находивший выгоду разыгрывать либерала. На вечерах у Доббльгофа также признавали все необходимость немедленных уступок, и, руководясь выражаемыми тут мнениями, Бах написал адрес к провинциальному ниже-австрийскому сейму; с 7 марта многочисленные списки этого адреса ходили по Вене для собирания подписей; почетнейшие лица торгового сословия и многие аристократы ездили с этими списками по своим знакомым; в книжных лавках также были выложены списки адреса. В нём заключалась настойчивая просьба к сейму, чтобы он изложил перед императором надобность преобразовать формы государственного управления. Многочисленные подписи на этом адресе принадлежали людям самых богатых и почетных сословий: негодьям и сановникам государственной службы.

Из этого горячего желания таких лиц, как эрцгерцогиня Софья, Коловрат, аристократы провинциального сейма, банкиры и т. д., можно уже заключать о силе волнения, овладевавшего умами. Действительно, народ предместий волновался. Меттерних не мог принять против этого никаких мер, потому что беспорядков никаких не происходило. При невозможности усмирять насильственными мерами движение, не представлявшее никакого предлога для полицейского или вооруженного вмешательства, не принималось и никаких мер успокоить его хотя бы только обещаниями реформ, хотя бы только уверениями, что недостатки прежней системы будут исправлены. А казалось бы, что Меттерних сам хорошо понял невозможность удержать прежнюю систему в Австрии после парижских событий. Получив первое известие о революции 24 февраля, он побледнел, опустился в кресла и минут десять сидел как пораженный параличом, не будучи в силах пошевелить рукой, сказать слово. Каким образом мог он после этого опять впасть в прежнюю самоуверенность и так упорно отвергать просьбы эрцгерцогини Софьи?

Около 7 числа начали увлекаться общим движением и студенты Венского университета. 7 марта несколько человек их, собравшись случайно, вздумали пригласить товарищей подать императору адрес. Через два дня они собрались в числе 40 человек на квартире одного из товарищей, одобрили адрес к императору, составленный юристом Шнейдером, и решили предложить его для подписи всем студентам, в следующее воскресенье, 12 марта, пользуясь тем, что все студенты собирались по воскресеньям в университет для слушания обедни. Собравшиеся поутру в воскресенье студенты толковали о том, каким порядком поднести адрес к императору, когда в большую залу, где собрались они, вошел профессор Ги, пользовавшийся большой популярностью. Студенты поручили ему, вместе с его приятелем профессором

Эндлихером, отправиться с их адресом на аудиенцию, а сами остались ждать в зале университета. Профессоры и депутаты явились с просьбою своею об аудиенции императора к эрцгерцогу Людвигу. Услышав от них, что нужна отставка Меттерниха, губящего династию, эрцгерцог Людвиг холодно прекратил разговор, и они должны были удалиться из его комнаты; но тотчас же эрцгерцог сам поспешил за ними, схватил Эндлихера за руку и сказал, что просьба их об аудиенции будет рассмотрена в государственном совете, который соберется после обеда. На совете было решено дать аудиенцию депутатам, и вечером они были допущены к императору. Адрес просил дарования свободы печати и преподавания и учреждения представительной формы. Император не дал никакого определенного ответа, а сказал только, что эти желания будут рассмотрены. Студенты не могли дожидаться в тот день возвращения своих депутатов и разошлись, положив собраться на следующее утро, 13 марта, чтобы узнать, чем кончилась аудиенция, а на следующее утро открывались заседания провинциального сейма.

Ночь прошла спокойно, не было никаких тайных собраний, и самые те люди, которые явились предводителями массы в следующий день, легли спать, не предвидя ничего особенного наутро. Надобно было только предполагать, что перед домом провинциального сейма соберется довольно много любопытных. Чтобы предотвратить всякую манифестацию, члены сейма решили ехать в залу сейма врозь и в обыкновенном штатском платье, а не по прежнему обычаю открывать сейм процессиею в своих мундирах или мантиях.

Утром 13 марта, в понедельник, погода стояла ясная, теплая, так что манила каждого на улицу погулять. Действительно, и отправились гулять по улицам жители Вены, не думая ни о каких манифестациях, а соблюдая только гигиеническое правило о пользе моциона. Студенты между тем собрались в 8 часов утра в большой университетской зале узнать о результате вчерашней аудиенции. Профессор Ги старался доказать им, что полученный ответ — самый благосклонный и наилучший, какого только можно желать. Молодежь, не видя в его словах ничего положительного, отправилась к дому провинциального сейма, чтобы видеть, как пойдет заседание. Вена состоит из внутреннего центрального города, который, вроде Московского Кремля, образовался из старинной крепости и очень невелик: он имеет немногим больше версты в поперечнике. Этот внутренний город опоясан очень широкими бульварами, занимающими место прежнего гласиса крепости; за бульварами лежат огромные предместья. Университет находится на одном конце внутреннего города; на другом конце, почти рядом с дворцом и с государственной канцелярией, где жил Меттерних, находился дом провинциального сейма. Расстояние от университета до этого дома, до дворца и до государственной

канцелярии составляет всего с версту или меньше. Извилистые улицы и небольшие площади между дворцом и университетом служат местом прогулки. Они были уже наполнены гуляющими в щегольских платьях. Эта движущаяся толпа состояла, как обыкновенно на прогулках, вполнину из женщин и детей. По случаю открытия сейма, разумеется, была она особенно густа перед домом провинциального сейма и на просторном дворе этого дома. По обыкновению, расспрашивали друг друга о новостях, слушали с интересом рассказчиков, сообщавших новости, и один из них, хирург венского госпиталя Фишгоф, вздумал сказать речь. Чтобы речь была слышнее, стоявшие подле него молодые люди приподняли его на свои плечи. Он коротко изложил содержание адресов и доказывал необходимость дружеских отношений между разными племенами, населяющими Австрию. Вслед за ним явились и другие ораторы. Толпа, разохотившись слушать речи, начала вызывать популярнейших членов провинциального сейма, чтобы они подошли к окнам и сказали что-нибудь. Но вызываемые члены сейма — Доббльгоф, Монтекукколи, Шмерлинг — не подходили к окнам. Наконец толпа стала кричать, чтобы Фишгоф шел в залу сейма вызвать этих популярных вельмож; Фишгоф был отыскан, и толпа втеснила его вверх по лестнице в залу сейма. Он убедил сеймового маршала или президента Монтекукколи подойти к окну, чтобы успокоить народ. Монтекукколи сказал из окна несколько успокоительных слов стоявшей внизу массе; она отблагодарила его такими восторженными аплодисментами и виватами, что Монтекукколи расчувствовался и, отступив от окна, сказал Фишгофу: «Пусть они выберут 12 человек депутатов, которые участвовали бы в совещаниях сейма, как свидетели и представители». Толпа стала выбирать депутатов, а между тем в разных углах двора слушала беспрестанно сменявшихся ораторов. Один из них начал читать речь Кошута 3 марта; с восторженными криками толпа встретила то место речи, где Кошут выражал любовь и преданность венгерской нации к императору. Речь эта, очень сильная, воспламенила толпу, которая стала повторять ее заключение, требовавшее конституционного устройства для всех австрийских провинций.

Депутация, выбранная участвовать в совещаниях сейма, была уже в зале, велись толки о надобности сделать что-нибудь в удовлетворение общих желаний; но сейм не решался ничего предпринять, а время шло. Члены сейма и депутаты несколько раз выходили на балкон произносить успокоительные речи. В один из таких разов депутаты, отправляясь с балкона назад в зал совещаний, ошибкою попали вместо одного коридора в другой, дверь из которого в залу не была отперта. Они смутились, испугались, выбежали из коридора назад на балкон и закричали: «Мы заперты!» На дворе поднялся шум; некоторым показалось, будто слышат они вдалеке выстрелы; поднялся крик: «Нас

бьют!» Часть толпы бросилась бежать со двора; другая часть, ища себе спасения, рванулась в двери залы сейма. Тут сейм увидел, что нельзя терять времени. Президент Монтекукколи сказал, что надобно отправиться к императору и поднести ему адреса, врученные сейму для передачи ему. С несколькими членами сейма он отправился во дворец, находившийся в нескольких шагах. Весь угол внутреннего города, где стоят дворец и дом сейма, был наполнен народом; в разных местах говорились речи; между прочим говорились они и под окнами квартиры Меттерниха, жившего в государственной канцелярии, которая находится тут же по соседству. Когда один из таких ораторов, посаженный на плечи несколькими молодыми людьми, доказывал надобность отставки Меттерниха под самым окном его, супруга Меттерниха подошла к окну, послушала и насмешливо улыбнулась. Действительно, дворец и государственная канцелярия были охраняемы сильными отрядами войска, которое было расположено и по всему внутреннему городу. На площадях стояли батареи; бастионы старых укреплений, окружающих внутренний город, также были вооружены пушками; гренадеры заряжали ружья боевыми патронами в виду народа, чтобы он сам знал серьезность готовящегося отпора. Чтобы предотвратить столкновение, составилась наскоро в зале провинциального сейма из горожан комитет для охранения порядка, и депутация этого комитета отправилась к бургомистру требовать, чтобы он созвал городскую гвардию, в которую записаны были 6 000 почетнейших венских горожан. Эта городская милиция должна была принять на себя охранение порядка. Бургомистр не решался, медлил. А между тем какой-то офицер, командовавший отрядом пионеров, увидев нескольких простолудингов, вооружившихся палками и обломками скамей, приказал своим солдатам стрелять. Выстрелы эти, к счастью, никого не ранили в толпе, но все-таки она рассердилась: в солдат полетели обломки стульев, скамей и камней. Эрцгерцог Альбрехт, начальствовавший войсками, командовал стрелять; сделаны были два залпа, и толпа побежала от дворца и с площади перед домом сейма; на опустевшей площади лежало пять трупов. Весть о нападении разнесена была бегущими по всему внутреннему городу, по всем предместьям, и дело начало принимать серьезный оборот. По всем улицам предместий собирались и вооружались толпы и двинулись на внутренний город против войск. Начались в разных местах стычки; депутаты комитета, составившегося из горожан, — богатые негодяны и будущий министр Бах, — снова явились к бургомистру и заставили его созвать городскую гвардию. Сам эрцгерцог Альбрехт, не ожидавший, чтобы скомандованные им залпы произвели такое действие, согласился теперь, что лучше будет передать охранение порядка гражданской гвардии и что рассеянные им по городу войска находятся в опасности. Он отозвал назад

свои отряды и сосредоточил все войско в немногих пунктах внутреннего города, на площадях и у ворот стены его. Предместья были очищены от войск, и многочисленные толпы собирались на бульварах, опоясывающих внутренний город, готовясь к битве. Ее надо было ждать с минуты на минуту.

Депутация провинциального сейма еще утром отправилась, как мы говорили, во дворец. Она поочередно имела аудиенции у Коловрата, у эрцгерцога Карла-Франца, наконец у эрцгерцога Людвига, управлявшего государством от имени больного императора. Эрцгерцог Людвиг принял ее холодно и сурово, но когда хотела она удалиться, он просил ее обождать в аван-зале, пока он посоветуется с членами государственной конференции. Эта государственная конференция была высшим правительственным учреждением, от которого зависели министры и другие сановники; вернее всего можно определить ее, сказав, что она соответствовала совету регентства. Кроме эрцгерцога Людвига, постоянными членами ее были эрцгерцог Франц-Карл, Меттерних, Коловрат и граф Гартиг, очень даровитый придворный, ученик и искренний друг Меттерниха (имя графа Гартига теперь часто упоминается в газетах, потому что он начертал основные правила для составления знаменитого диплома 20 октября). Иногда приглашались в конференцию и два или три человека из других министров. Теперь эрцгерцог Людвиг созвал в свой кабинет эрцгерцога Франца-Карла, Меттерниха, Коловрата, Гартига и графа Пильграма, одного из членов государственного совета. Они вкратце совещались, а депутация провинциального сейма дождалась в аван-зале, наполненной генералами и адъютантами. Тут же находились другие эрцгерцоги. По временам выходил из кабинета адъютант эрцгерцога Людвига, приглашал кого-нибудь из сановников или эрцгерцогов в кабинет; потом члены государственной конференции снова отпускали приглашенного и продолжали совещаться наедине. Два или три раза призывали к себе они депутацию провинциального сейма и снова отпускали ее, прося подождать. Так прошло несколько часов. Перед вечером явились в аван-залу у дверей государственной конференции две другие делегации.

Мы видели, как разбежалась толпа с площади сеймового дома и как предместья начали после того вооружаться. Предвидя столкновение, студенты снова собрались в университетской зале и просили своих прежних депутатов, профессоров Ги и Эндлихера, вместе с ректором университета Йенулле, 70-летним стариком, отправиться во дворец, чтобы предотвратить кровопролитие своими советами. Мы говорили также, что зажиточные горожане, составлявшие городскую гвардию, не дождались никаких распоряжений от бургомистра; они начали собираться сами на бульварах между предместьем и внутренним городом, чтобы устроить своим посредничеством схватки между народом и войсками.

Офицеров гражданской гвардии собралось тут очень много; но рядовые, жившие в отдаленных частях предместий, еще не знали о решимости своих товарищей, и офицеры гражданской гвардии, видя нерешительность ее начальника — бургомистра, сами взяли барабаны и пошли по предместьям бить сбор. Тогда отряды гражданской гвардии на бульварах быстро увеличились. Офицеры ее видели начинающиеся стычки, старались разводить сражающихся, но чувствовали, что скоро не в силах будут прекращать эти схватки. Они выбрали из своей среды также депутацию и послали ее во дворец. Эта депутация, подобно университетской, была препровождена в аван-залу эрцгерцога Людвига. Много раз призывалась то одна, то другая из этих депутатий, то опять депутация провинциального сейма в кабинет конференции, несколько раз выходил в аван-залу из кабинета граф Гартиг; по временам вбегали в аван-залу офицеры с известиями о новых стычках между войсками и народом. А время все шло и шло, без всякого результата. Вот вышел граф Гартиг, вот вышел сам эрцгерцог Людвиг в аван-залу; они спрашивают у депутатов гвардии, какой же наименьший размер уступок может успокоить горожан. Офицеры гражданской гвардии говорят, что необходимо по крайней мере уволить в отставку Меттерниха. «Неужели вы полагаете, что это возможно, что мы согласимся на это?» — отвечают им. Гартиг и эрцгерцог Людвиг возвращаются в кабинет, и опять продолжается совещание конференции, опять призывают в кабинет одну депутацию за другою. Вот призвана в кабинет депутация гражданской гвардии. Меттерних подходит к одному из депутатов, офицеру Шерцеру, ласково и одобрительно треплет его по плечу и говорит: «Неужели гражданская гвардия, вместе с войсками, не в силах будет одолеть чернь?» — «Ваша светлость! это не чернь, — волнуется весь город». — «Но вместе с войсками вы легко усмирите волнение». — «Ваша светлость! мы не можем сражаться вместе с войсками». Депутацию опять отпускают, снова тянется совещание за закрытыми дверями кабинета; на дворе уже смерклось, наступает ночь. Вот явилась в аван-залу новая, четвертая депутация. Собралась корпорация венских медиков. Будучи по своему положению хорошо знакомы с расположениями всех сословий, медики яснее, чем кто-нибудь, понимали положение дел. Они прислали своих депутатов с настоятельными убеждениями. Они принесли известие, что великолепный загородный дом Меттерниха в Ландштрасском предместии разрушается народом, что во многих местах толпы готовятся брать в плен караулы гауптвахт и ломать двери у оружейных лавок. Они видели, что, занимая войсками все ворота, ведущие во внутренний город из предместий, эрцгерцог Альбрехт забыл поставить отряд во Францовских воротах, и через эти ворота внутренний город наполнился простолюдинами предместий. Ближайшие к дворцу улицы и площадь перед дворцом

снова наводнены толпою, как было поутру, и толпа уже рассуждает, что проникнуть во дворец легко: в одном из фасов дворца есть между сплошным каменным строением промежутки, занятый деревянным театром; если зажечь этот театр, он рухнет очень скоро и через прогорелое место будет доступ внутрь дворца. Толпы уже вооружены ломами, топорами; они со всех сторон готовятся штурмовать ворота внутреннего города, охраняемые войсками. Депутаты медиков говорят, что последняя отстрочка атаки, выпрошенная ими у волнующейся массы, — срок до 9 часов вечера. На резкое слово, сказанное одному из медиков сановником, бывшим в аван-зале, находящееся в аван-зале собрание адъютантов и других почетных лиц отвечает свистом, и раздаётся общий говор: «поздно, поздно!» Члены конференции слышат это в своем кабинете. Шум на улице усиливается. Бах восклицает в аван-зале: «Еще 5 минут, еще 5 минут, и я не отвечаю ни за что». Один из присланных медиками депутатов берется за ручку двери, ведущей из аван-залы в кабинет, — в эту самую минуту двери кабинета отворяются, и члены всех deputаций слышат приглашение войти в кабинет. Эрцгерцог Людвиг, Коловрат, Гартиг и несколько впереди их князь Меттерних, выступают навстречу входящих депутатов. Меттерних спокоен. Он обращается к депутатам гражданской гвардии: «Вы объявляли, — говорит он, — что только мое удаление может восстановить спокойствие Австрии. Потому я с радостию удаляюсь. Желаю вам счастья при новом правительстве, желаю счастья Австрии». — «Мы не имеем ничего против вашего лица, светлейший князь, — отвечали депутаты, — мы были только против вашей системы. Потому благодарим вас именем народа. Да здравствует император Фердинанд!» По всем залам отозвался этот крик в честь императора. Меттерних повторил, что он с радостью удаляется в отставку для пользы государства, и потом продолжал разговор спокойным голосом, без всяких признаков волнения. Коловрат показал депутатам готовый проект императорского манифеста, обещавший преобразования, и объявил, что студентам дозволяется взять оружие из арсенала, чтобы их легион служил городу ручательством в исполнении обещанных реформ. С восторгом поспешили депутации сообщить такую успокоительную развязку толпам горожан, окружавшим дворец, наполнявшим все соседние улицы; народ расходился с радостными криками в честь императора. Депутаты студентов и докторов торопливо пришли в университет, и студенты разделились на отряды, поочередно отправлявшиеся в арсенал вооружаться; из арсенала расходились они по предместьям, повсюду восстанавливая порядок, уже бывший низвергнутым во многих частях столицы. Простолудины охотно слушались увещаний университетской молодежи и прекращали нападения на войска. Скоро вся Вена успокоилась, и ночь прошла тихо. Поутру жители Вены узнали, что князь Меттерних уже уехал.

Последние часы его власти и верность данному обещанию удалиться от власти приносят большую честь и характеру, и уму Меттерниха. Он мог бы наделать страшного кровопролития, разрушить половину столицы в последний день своей власти. Но, как человек умный, он рассчитал, что это было бы напрасно. Он был так сообразителен, что умел смирить свои силы с силою движения, не нуждаясь в испытаниях расчета посредством действительной борьбы, — он умел предвидеть, что был бы побежден, и нашел в себе столько силы характера, чтобы не вступать в безуспешную битву. Хладнокровие и спокойствие, с каким он объявил, что отказывается от власти, облачают его фигуру даже каким-то высоким блеском. Если хотите, говорите, что все это был только расчет умного человека, — но, воля ваша, кроме расчета, есть тут и благородство, и патриотизм. Выставляют Меттерниха каким-то олицетворением коварства, — нет, коварный человек не сдержал бы своего последнего слова так верно и строго, как он: не сделав никаких попыток изменить ему, уклониться от своего обещания, не пытаясь сохранить в своих руках власть, он равнодушно оставил другим делать попытки к подавлению движения, а сам честно стал готовиться к отъезду и кончил сборы быстрее, чем самый недоверчивый враг мог бы требовать от старика, привыкшего жить сибаритом. Мы вовсе не поклонники Меттерниха, но конец его правления доказывает, что он был человеком гораздо лучшим, чем как обыкновенно думают о нем. Тот же самый факт обнаруживает и другую сторону его политической жизни. Его система пала без борьбы от первой волны движения, охватившего Вену, от одного желания, выраженного этим городом, самым неприготовленным из всех западных столиц к энергическому действию, самым слабым, беспомощным, — если позволительно так выразиться, — самым пустым из всех западных больших городов. Жители Вены были тогда в гражданском смысле не больше как дети. Умели ли они сражаться? Способны ли они были выдерживать огонь регулярных войск? Имели ли они тогда, по крайней мере, хотя каких-нибудь предводителей, годных для боя? Имели ли они, по крайней мере, оружие? Ничего этого у них не было. Или, быть может, они заменяли эти недостатки настойчивостью характера, ясностью понятий о том, к чему стремятся? И этого ничего в них не было тогда. То были люди, не имевшие ни твердых желаний, ни определенных целей, ни привычки к дружному действию, — решительно ничего и ничего, — и стоило таким ничтожным людям лишь походить несколько часов по улицам с разговорами, что они недовольны Меттернихом, и оказалось, что Меттерних слабее даже их, слабее которых не могло быть, кажется, ничего на свете. Сделано было несколькими маленькими отрядами солдат в разных местах по нескольку выстрелов; брошено было несколькими десятками горячих людей из простонародья несколько камней в солдат — и только всего.

Кажется, не нужно было бы и солдат; достаточно было бы несколько десятков полицейских служителей, чтобы разогнать по домам весь этот далеко не воинственный народ, — и оказалось, что стрелять в него нельзя, что войска не годятся против него, что надобно уступить бессильному желанию бессильного города; система Меттерниха оказалась не выдерживающею самого слабого прикосновения. К чему же была нужна она? — спрашиваем мы теперь. Меттерних думал, что необходима она для охранения порядка, для обуздания волнений. Оказалось, что при первой попытке низвергнуть существовавший порядок она сама упала; что первый легкий порыв волнения ниспроверг ее. Значит, она не годилась для своей цели, и если существовала с 1814 до 1848 года, то лишь потому, что не было тогда в австрийском населении расположения волноваться, то есть не было причины, по предположению которой была установлена эта система, не существовало цели, для которой она предназначалась.

Система эта возникла просто из незнания об истинном положении дел, из незнания с расположением умов, из ошибочного предположения несуществовавших опасностей и зловерностей, и только своею ненужною обременительностью породила, наконец, то волнение, которого никогда не произошло бы без ее раздражавшего тяготения, без ее напрасной и обессиливавшей само правительство, самого Меттерниха, самого Франца I и его наследника стеснительности. Меттерних просто не знал государства, которым управляет; вся беда произошла оттого, что он, не потрудившись познакомиться с управляемыми племенами, предположил их враждебными, когда они и не думали еще быть враждебны, а напротив, проникнуты были искреннейшею преданностью, — вообразил, будто он должен управлять какими-то чеченцами, лезгинами, шапсугами, у которых за каждым холмом, на каждой поляне таится Шамиль или Казы-Мулла¹⁹, готовый выскочить на борьбу с ними, а не с мирными людьми, которые веки-веков рады были жить под властью габсбургского дома и не имели никакой мысли ни о каких волнениях. К их и к своему несчастью Меттерних не знал этого. Что делать! Это было его и их несчастье; но нельзя винить за то самого Меттерниха: он находился в такой обстановке, что не мог знать того, чего, к несчастью, не знал; таково было его положение, лишавшее его верных сведений о жизни масс и о мыслях просвещенной части общества, — положение, повидимому, всесильное, но в сущности беспомощное.

Мы знаем, что говорим против предубеждений, очень сильно укорененных в нашей публике. Но будем беспристрастны, не будем несправедливы, даже к Меттерниху. К чему говорить о злонамеренности, о коварстве, — этого не было; было нечто другое, — было незнание, непонимание²⁰.